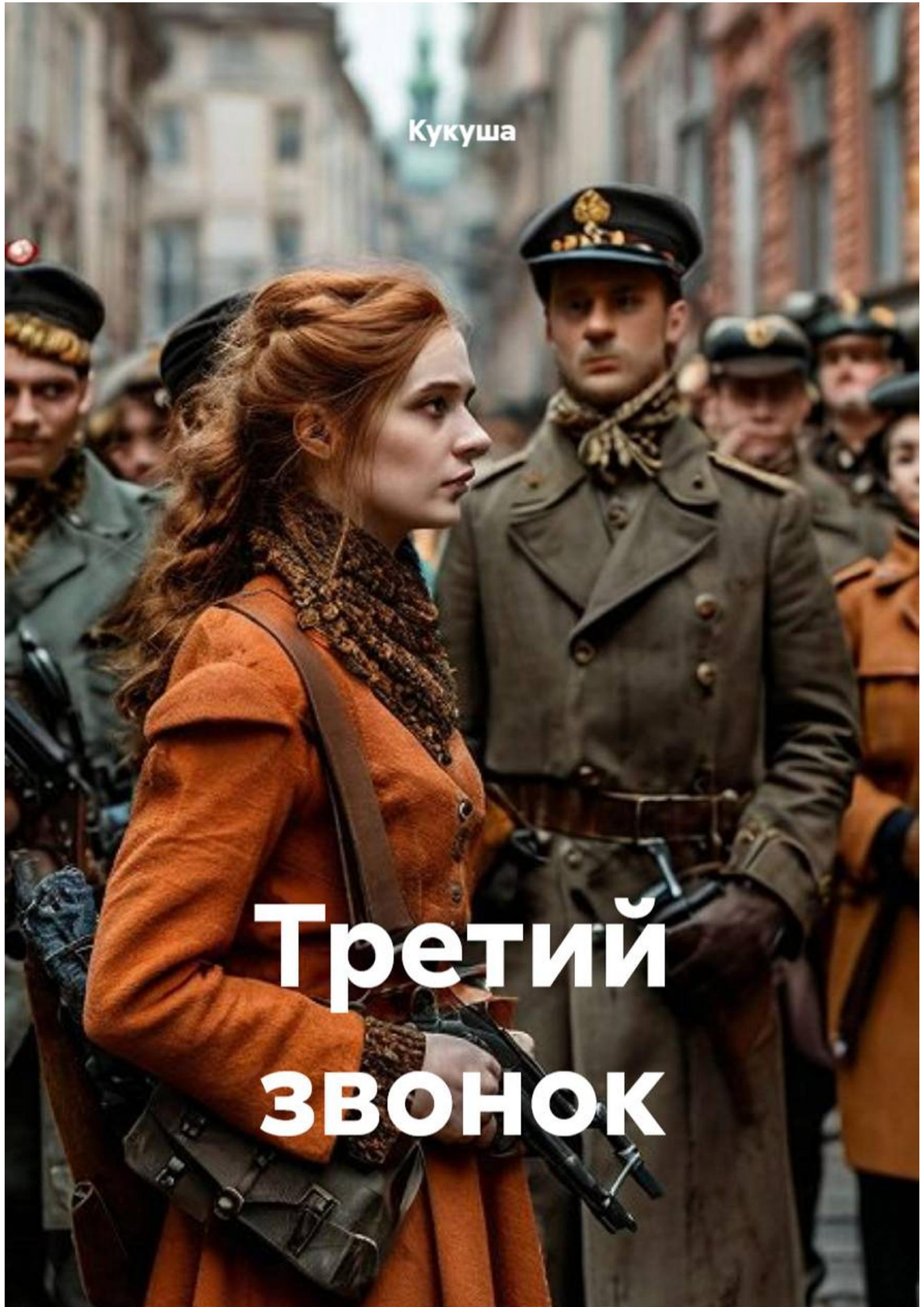


Кукуша

# Третий Звонок



Кукуша  
**Третий звонок**

«Автор»

2026

## Кукуша

Третий звонок / Кукуша — «Автор», 2026

Они выходили на сцену, когда гремела война. Играли Гамлета и Чацкого, Городничего и Молчалина, а потом брали автоматы и шли в атаку. Их знала вся страна по фильмам и спектаклям. Но никто не знал, что под гримом скрываются шрамы от осколков. Москва, 2026 год. Десятиклассница Маша Огнева рассказывает на классном часе о деде — актере, погибшем при освобождении Кракова. В ответ — смех. Одноклассники не верят, что артист может быть героем. Униженная Маша бежит домой, где бабушка открывает ей правду: её дед был не единственным. Тысячи актеров ушли на фронт. «Борись за всех, — говорит бабушка. — Их имена забыты. Маша начинает свой путь. Она собирает письма, дневники, фотографии. Находит доказательства, что артисты на войне были теми, кто сохранял человечность в тяжелых условиях. Они пели под пулями, смеялись, когда хотелось плакать, и умирали с улыбкой. Сможет ли одна девочка переломить равнодушие? «Третий звонок» — повесть-памятник о том, как театр и война сплелись в одну трагедию.

© Кукуша, 2026

© Автор, 2026

## Кукуша

### Третий звонок

**Пролог, в котором осенний ветер кружит над Москвой, а память прорастает сквозь асфальт, и где старый дом в Кривоарбатском переулке хранит голоса, которые никто не слышал почти век**

Осень в Москве всегда была особенной. Не та осень, о которой пишут в учебниках для младших классов — золотая, румяная, с грибами и дождями. Нет. Та осень, которая приходит в старые переулки и остается там жить до самого снега, пропитывая стены сыростью, а воздух — запахом увядших листьев и ушедшего времени. В Кривоарбатском переулке такая осень была особенно густой, почти осязаемой. Казалось, что сами камни мостовой дышат историей, что каждый кирпич в стенах старых домов хранит чей-то шепот, чью-то боль, чью-то надежду.

В одном из таких домов, стоявших здесь еще до революции, на втором этаже, в квартире с высокими потолками и скрипучими половицами, жила семья Огневых. Вернее, жила уже не семья — осталась только Клавдия Семеновна, вдова, и её внучка Мария, которую все звали просто Маша. Дом этот помнил многое. Он помнил довоенные вечера, когда из открытых окон доносился смех и звон гитары, помнил затемненные окна сорок первого, когда в комнатах горели лишь коптилки, помнил похоронки, которые приносили в серых конвертах, помнил долгожданную победу и возвращение тех, кто вернулся. Но больше всего — куда больше, чем все радости и беды, — он помнил тишину. Ту самую тишину, которая поселилась в квартире Огневых после того, как Всеволод Петрович ушел на фронт и больше не вернулся.

Тишина эта была не просто отсутствием звуков. Она была плотной, почти материальной, как пыль, оседающая на старых книгах, как паутина в углах, как те самые сны, которые снятся в каждой квартире, где ждут, но никто не приходит. Клавдия Семеновна жила в этой тишине тридцать лет, научилась с ней разговаривать, научилась слышать в ней голос мужа, который шептал ей по ночам: «Я здесь, Клава. Я рядом. Я всегда с тобой».

Она зажигала лампадку перед иконой в красном углу, где висел портрет Всеволода, и тихо разговаривала с ним, рассказывая о своих днях, о своей внучке, о том, как Москва постепенно залечивает раны, но не забывает их. Она не плакала — она научилась не плакать еще в сорок пятом, когда узнала, что он не вернется. Слезы были солеными, а жизнь и так была соленой от пота и крови. Вместо слез, она хранила письма. Сотни писем, которые он присылал с фронта, которые она перечитывала каждый вечер, водила пальцем по строчкам, словно пыталась дотронуться до его души.

Письма лежали в старом дубовом комодe, в верхнем ящике, перевязанные бечевкой, которую Клавдия Семеновна завязывала и развязывала каждый раз, когда доставала их. Запах от писем исходил странный — смесь пороха, старой бумаги и махорки. Запах войны, который выветривался уже полвека, но никак не мог выветриться до конца. Иногда ей казалось, что она слышит голос Всеволода — низкий, чуть хриплый, с той особенной актерской дикцией, которая делала его голос таким запоминающимся. Он читал ей письма вслух, хотя писал их сам. Он читал о боях, о товарищах, о том, как он скучает по дому, по ней, по своей маленькой дочери, которой в ту войну было всего три года.

Той дочери уже не было в живых — она умерла от болезни в пятидесятых, оставив Клавдии Семеновне внучку Машу. Маша была похожа на Всеволода. Те же глаза — серые, с хитринкой и мягкостью одновременно, те же скулы, тот же изгиб бровей, который делал лицо таким выразительным. Когда Клавдия смотрела на Машу, она видела своего мужа, вернувшегося в другом обличье, молодого, живого, полного надежд. И она знала, что он передал внучке то, что не смог передать никому другому, — свой огонь, свою страсть, свою веру в то, что искусство выше смерти.

Но Маша, как и все подростки, еще не знала своего огня. Она росла в тишине, в окружении старых фотографий и рассказов бабушки, которые звучали как сказки, но были правдой. Она знала, что её дед был актером. Великим актером, как говорила бабушка. Она знала, что он играл в МХАТе, что его знали и любили зрители, что он был талантливым, ярким, незабываемым. Она знала, что он ушел на фронт добровольцем, потому что не мог сидеть в тылу, когда его страна в опасности. Она знала, что он погиб при освобождении Кракова, в январе сорок пятого, за несколько дней до победы.

Но она не знала главного. Она не знала, что значит быть героем. Для неё герой — это были те, кого показывали в фильмах: крепкие мужчины в гимнастерках с орденами, которые кричат «Ура!» и бросаются в атаку под марш «Прощание славянки». Её дед на этих героев не походил. Его фотографии — в театральных костюмах, с накладными усами, с цветами в руках, с улыбкой, которая была актерской, а не солдатской, — не вписывались в её представление о войне. И это несоответствие, эта загадка жила в ней, как заноза, которую нельзя вытащить.

Однажды, осенним вечером, когда ветер срывал последние листья с кленов во дворе, Маша сидела в своей комнате и рассматривала старый альбом. На одной из фотографий она увидела деда в военной форме, с автоматом в руках. Он улыбался, но улыбка его была другой — не театральной, а настоящей, той, что появляется у людей, которые прошли через смерть и остались живы. Маша долго смотрела на эту фотографию, пытаясь представить, каким он был, что он чувствовал, о чем думал.

И в тот момент она почувствовала странное волнение. Ей показалось, что из-за спины кто-то смотрит на неё. Она обернулась, но никого не было. Только тени танцевали на стенах от старой лампы, и где-то в углу тикали часы, отмеряя секунды, которые уже не вернуть.

— Дедушка? — прошептала она. — Это ты?

Ответа не было. Только тишина, плотная и тяжелая, как в старых книгах, которые пахнут пылью и вечностью.

Маша закрыла альбом и подошла к окну. На улице уже зажигались фонари, и в их желтом свете падали листья, кружась в последнем танце. Где-то вдалеке слышался голос бабушки — она пела старую песню, ту самую, которую пела на фронте Надежда Сухова. Маша знала её наизусть, хотя бабушка редко пела при ней.

«Ты, Маша, не знаешь, как трудно помнить, — говорила бабушка. — Но еще труднее забыть. Забыть — значит предать. А мы не предатели. Мы те, кто помнит».

В тот вечер Маша заснула с мыслью, что в её жизни есть что-то, что она должна сделать, какая-то миссия, какая-то цель. Она не знала, какая именно, но чувствовала, что эта цель уже близко, что она ждет её за углом, на пороге, в каждом письме, в каждой фотографии, в каждом слове бабушки.

А за окном кружились листья, и старый дом в Кривоарбатском переулке вздыхал, храня в своих стенах истории, которые однажды будут рассказаны.

И эта история начнется завтра.

\*\*\*

*Так начинается повесть о Мариш Огневой, десятикласснице из Москвы, которая однажды поругалась со своими одноклассниками на классном часе и решила, что правда стоит того, чтобы за неё бороться. Потому что правда — это единственное, что остаётся после войны. Потому что пока жива память, живы и герои. И потому что каждый из нас, даже самый юный, может изменить мир — нужно только захотеть и поверить.*

*Впереди — история. История о том, как смех обернулся тишиной, как тишина стала голосом, и как один голос превратился в хор, который звучит и по сей день.*

*Начинаем.*

## **Глава первая, в которой смех звучит громче похоронного марша, а фамилия артиста становится проклятием, и где бабушкины сказки оказываются страшнее правды**

В тот день в московской школе № 34, что стояла в Кривоарбатском переулке, пахнушем кошками, жареными пирожками и вечной сыростью подвалов, случилось событие, которое в учебнике истории назвали бы «классным часом». Но для Марии Огневой этот час превратился в час её личной Голгофы, в час, когда она почувствовала, как земля уходит из-под ног, а воздух становится кислым и вязким, как прокисшее молоко.

Октябрьское солнце, жирное и тусклое, как масло в школьной столовой, которое никогда не таяло до конца, сочилось сквозь пыльные, давно не мытые стекла. Свет падал косыми полосами, разрезая класс на зоны света и густой, тягучей тени, словно само время решило поиграть в светотень. На стенах висели портреты классиков — Пушкин смотрел куда-то в потолок с выражением вечной тоски, Гоголь кривил свой длинный нос, словно чуял беду, а Толстой, бородатый и суровый, взирал на происходящее с таким видом, будто собирался сейчас спуститься с портрета и раздать всем оплеух. Но он не спускался. Никто не спускался.

Лица одноклассников Марии, надо сказать, были исполнены той особенной, сладостной жестокости, которая свойственна только детям, уже выросшим из коротких штанишек, но еще не доросшим до понимания того, что такое смерть, память и цена чужого подвига. Их лица, освещенные этим масляным солнцем, казались вырезанными из дешевого картона — яркими, кричащими, но абсолютно плоскими, лишёнными глубины. Они были похожи на маски из папье-маше, которые продают в театральных лавках перед Новым годом.

Маша стояла за учительским столом. Деревянная поверхность стола была исцарапана и исписана признаниями в любви, выведенными шариковыми ручками еще в далекие девяностые, и Маша машинально водила пальцем по этим буквам, пытаясь найти в них опору, как слепой ищет стену. Пальцы её дрожали — крупная, нервная дрожь охватила всю кисть, перешла на предплечье и, казалось, добралась до самого сердца, которое колотилось где-то в горле, перекрывая дыхание. Она перелистывала выцветшие страницы доклада, который готовила три ночи подряд. Страницы пахли старым шкафом и ванилью — любимыми духами бабушки.

Она говорила о войне. О Кракове, этом древнем польском городе с королевскими замками и мощеными улочками, где каждый камень помнит сапоги немецких офицеров и кровь солдат. О своем деде, которого она никогда не видела, но который жил в ней каждой клеточкой, каждой косточкой, каждой минутой её существования, потому что бабушка каждую ночь, ровно в половине двенадцатого, шептала его имя в подушку, словно молитву, словно заклинание, отгоняющее смерть.

— Мой дед, — начала Маша, и голос её прозвучал тонко, как струна, натянутая до предела. — Огнев Всеволод Петрович, артист Московского Художественного театра, ушел на фронт добровольцем в сорок первом году, когда ему было уже тридцать восемь лет. Он мог бы остаться, получить бронь, играть в эвакуации, но он не захотел. Он сказал своей жене, моей бабушке: «Клавдия, если я останусь, я не прощу себе этого никогда. Я умею говорить со зрителем, но что я скажу зрителям, если сам не пройду через то же, что проходят они?»

Она говорила, и слова её падали в тишину, как капли воды на раскаленный камень, тут же испаряясь. Она рассказывала о том, как дед воевал под Ржевом, где земля была вспахана снарядами так, что на ней не выросло ни травинки в течение десяти лет; как он был ранен в плечо под Сталинградом, но не ушел в госпиталь, а остался в строю, потому что его взвод потерял командира; как он дошел до Польши, до самого Кракова, и погиб в январе сорок пятого, за несколько дней до освобождения города, от осколка немецкой мины, который вошел ему прямо в грудь, туда, где, наверное, жила его сцена, его театр, его зрители.

— Он был... он был героем, — выдохнула Маша, и в этом выдохе была вся её душа, вся её детская, наивная вера в то, что если рассказать правду, то люди поймут.

Но она ошиблась.

Тишина, повисшая в классе, была обманчивой. Это была тишина перед взрывом. Маша почувствовала это кожей, затылком, каждой клеточкой спины, которая покрылась гусиной кожей. Она подняла глаза от бумаги и увидела их — двадцать пять пар глаз, сверкающих предвкушением. И в этих глазах не было ни капли сочувствия. В них был голод. Голод по зрелищу, по низкому, пошлому, смешному.

И тогда грянул гром.

Это был не салют, не орудейный залп, это был хохот. Хохот, который вырвался из двадцати пяти глоток одновременно, словно кто-то нажал красную кнопку на пульте управления человеческими эмоциями. Смех был разным: визгливым, басовитым, захлебывающимся, свистящим, кашляющим. Он перекрывал сам себя, множился в углах класса, отражался от портретов классиков и возвращался обратно, усиленный в десять раз.

Первым не выдержал Коля Жуков, лицо которого напоминало перезрелый помидор — красное, лоснящееся, с мелкими прыщиками, которые, казалось, пульсировали и лопались от смеха. Он хрюкнул, уткнулся носом в парту, и его плечи затряслись так, будто он пытался взлететь на этом дурацком смехе, как на крыльях. Из его носа вылетела сопля, повисла на губе, но он даже не вытер её — так ему было весело.

— Ой, не могу! — взвизгнула Катька Смирнова, поправляя свой дурацкий бант, который съехал на ухо и теперь болтался, как флаг на тонущем корабле. Лицо её побагровело, на глазах выступили слезы, но это были слезы веселья, а не сострадания. — Машка, ну ты артистка! Скажи честно: он там, в Кракове, Городничего играл? Ходил с ревизией к Гитлеру? Проверял, как там, у фрицев с казной?

— А может, Молчалина? — подхватил Петька Терентьев, хищно оскалившись. Петька сидел на задней парте, развалившись, как барин, и грыз яблоко с таким хрустом, будто откусывал голову курице. — Молчалин ведь только «с-с-с» да «ах», какой же из него воин? Он бы, поди, под кровать залез при первом же выстреле, только бы не высовываться.

— А может, он Чацкого играл? — заорал кто-то с левого фланга, и класс снова взорвался. — Чацкий, он ведь всех ругал, может, и фашистов разругал до смерти?

Смех становился все громче, все уродливее. Маша видела их лица — кривые, блестящие слюной, разинутые рты, в которых мелькали языки и пломбы. Ей показалось, что она видит не лица своих одноклассников, а рожи гоголевских персонажей, сошедших с ума и вырвавшихся из книг на свободу. Городничий, Хлестаков, Сквозник-Дмухановский — все они смеялись над ней, над её дедом, над его подвигом. Им было смешно. Им было весело. Потому что в их головах умещалось только одно: артист — это клоун в гриме, человек, который умеет только кривляться на сцене и получать цветы. Как такой человек может убивать врагов? Как может защищать Родину?

Маша сжала листы доклада так, что бумага захрустела, как сухие листья под ногами. Она чувствовала, как краска стыда заливает щеки, как кровь приливает к вискам, как в ушах начинается шуметь, заглушая смех. Но смех не заглушался. Он был повсюду.

— Он играл Чехова! — выкрикнула Маша, и голос её сорвался на визг, как у чайки, подстреленной на лету, как у той самой Чайки, которую играл её дед в театре. — Он играл Треплева в «Чайке»! Он...

— Ну и застрелил бы себя в конце! Как у Чехова! — радостно заорал Жуков, и его слова упали в благодатную почву. Класс взорвался новым приступом хохота. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то засвистел, кто-то застучал ногами по полу, словно это был не класс, а цирк, и Маша была клоуном, который нелепо шлепнулся на арене.

— Да он актер, — сказал вдруг отличник Вася Черепанов, поправляя очки, которые вечно сползали на кончик носа. Вася обычно молчал, но сейчас он решил высказаться, и его голос, тихий и гнусавый, прозвучал как приговор. — Актеры — они же просто играют. Я читал, что у

них все понарошку. Дед твой, Маша, может, и не воевал вовсе, а просто придумал себе подвиги, чтобы выглядеть героем перед бабушкой.

Маша посмотрела на Васю. Этот мальчик с вечно взлохмаченными волосами и толстыми линзами, который знал наизусть все формулы по физике, но не знал самого главного — цены чужой жизни, — казался ей сейчас самым отвратительным существом на земле.

— Заткнись, Вася, — выдохнула она. — Ты ничего не знаешь.

— А что знать? — пожал плечами Вася. — Мой дед был директором завода. Он реально работал. А твой — артист. Это же несерьезно.

В этом слове — «несерьезно» — была вся суть происходящего. Для них, для этих детей, которые не видели войны, которые не нюхали пороха, война была игрой. И актер в этой игре был самым смешным персонажем, потому что актер — он и есть игрок. Он все делает понарошку.

Мария Огнева, ученица десятого класса, красавица с длинной русой косой, уложенной вокруг головы короной, и глазами, которые бабушка называла «материнскими» — потому что в них умещалась вселенная, полная боли и любви, — расплакалась. Но плакала она не так, как плачут девочки в кино. Она не закрывала лицо руками и не рыдала навзрыд. Она плакала горько, беззвучно, и слезы её падали на листок с биографией деда, размазывая чернила, делая буквы расплывчатыми, как лица во сне. Ей казалось, что этими слезами она смывает позор. Позор того, что её дед, человек, который держал в руках винтовку, а не только театральный реквизит, человек, который дважды был ранен и не покинул поле боя, оказался для этих идиотов просто «артистом-недотепой».

Она посмотрела на классную руководительницу, Нину Петровну, женщину лет пятидесяти с усталыми глазами и вечным запахом валерьянки. Нина Петровна сидела за своим столом и не вмешивалась. Она просто смотрела в окно, на тополя, которые желтели за стеклом, и, казалось, не слышала ничего. Она была здесь, но её не было. Она была как та самая тень, которая не отбрасывает тела.

— Нина Петровна! — крикнула Маша, ища защиты. — Нина Петровна, ну скажите им!

Нина Петровна медленно повернула голову, посмотрела на Машу пустыми глазами и пожалала плечами.

— Маша, — сказала она своим ровным, безжизненным голосом, — ну зачем ты так бурно реагируешь? Это же просто шутка. Ребята не хотели тебя обидеть. Они же дети.

«Дети», — пронеслось в голове Маши. — «Им по семнадцать лет. Они уже не дети. Им скоро голосовать, принимать решения, идти в армию. А они смеются над погибшим солдатом, потому что он был артистом».

— Вы все... — начала Маша, но голос прервался. Она не могла говорить. Слова застревают в горле, как рыбы кости.

Она выбежала из класса, хлопнув дверью с такой силой, что сорвалась табличка «11-А» и с глухим стуком упала на пол. За спиной все еще звучал смех — затихающий, но все еще живой.

Она бежала по коридору, и шаги её гулко отдавались от стен, покрытых школьной краской цвета «сонная муха». Она не видела ничего перед собой — только слезы застилала глаза. Она вылетела на улицу, в холодный октябрьский воздух, который тут же обжег щеки, смешавшись со слезами.

Домой она плелась по бульвару, где желтые листья, мокрые и тяжелые, кружились в прощальном вальсе и падали под ноги, издавая влажный шелест, похожий на вздох. Она смотрела на прохожих — на женщин с колясками, на стариков с палочками, на студентов с огромными рюкзаками — и видела их словно сквозь толщу воды, мутной и горькой. Ей хотелось крикнуть каждому встречному: «Скажите, а ваш дед был артистом? Или ваша бабушка? Они тоже были

героями на войне? Или вы тоже засмеёте меня, если я скажу, что он играл Молчалина, но при этом закрыл своим телом командира?»

Она остановилась у памятника Пушкину, который стоял в сквере, и посмотрела на бронзового поэта. Пушкин был задумчив, и, казалось, понимал её боль.

— Почему, Александр Сергеевич? — прошептала Маша. — Почему они смеются? Разве вы не писали о том, что поэт должен быть воином?

Памятник молчал. Только голубь сел ему на голову и важно ворковал, оглядываясь на Машу с птичьей иронией.

Дом, в котором жила Маша с бабушкой, был старым, с высокими потолками и скрипучими половицами. Он стоял в глубине двора, скрытый от глаз прохожих разросшимися кустами сирени. Этот дом помнил войну. В его стенах до сих пор жили запахи той эпохи — махорки, сухого хлеба, страха и надежды.

Бабушка, Клавдия Семеновна, встретила её в прихожей. Это была маленькая, сухонькая старушка с острыми, как кинжалы, глазами, которые видели сквозь стены и сквозь время. Волосы её, седые, как первая снежная пыль, были туго затянуты в пучок, и каждая прядь лежала на своем месте, как солдат в строю. Бабушка ходила с палочкой, но не потому что была старой, а потому что в сорок третьем она наступила на мину — саперы не успели её обезвредить. Чудом осталась жива, но нога так и болела до конца дней.

Бабушка сразу поняла, что произошло что-то страшное. Не потому что умела читать мысли — она, пережившая войну, голод, потерю мужа и гибель двух сыновей, за семьдесят с лишним лет научилась читать человеческую печаль по изгибу плеч, по опущенной голове, по тому, как человек дышит.

— Ну, — сказала бабушка строго, но в голосе её уже звучала тревога. Она поставила перед внучкой чай в граненом стакане — металлический подстаканник был старый, еще довоенный, с выгравированным на нем именем Всеволода. — Выкладывай. Все. До крошки.

И Маша выложила. Все. Как они смеялись. Как они переиначивали Молчалина. Как Петька Терентьев хрустел яблоком и орал про «под кровать». Как Вася Черепанов, отличник с очками, сказал, что это «несерьезно». Как Нина Петровна смотрела в окно и ничего не сделала. Маша говорила, и слезы снова текли по её щекам, но теперь это были не слезы обиды, а слезы гнева.

Бабушка слушала молча. Только пальцы её, скрюченные артритом, сжимались и разжимались на скатерти, и белая льняная ткань собиралась в складки, как после бомбежки. Она сидела, как каменное изваяние, и только её глаза горели — горели тем самым огнем, который не тушили даже самые сильные ливни.

А потом она вдруг улыбнулась.

Улыбка была странной — в ней было больше стали, чем нежности. Она была похожа на улыбку старого солдата, который видит, как новобранец теряется в бою, и знает, что парню нужно дать не сахар, а правду.

— Дура ты, Машка, — сказала бабушка и стукнула костяшкой пальца по столу. — Думаешь, твой дед первый такой? Думаешь, он единственный, кто перепачкал свои «актерские» брюки в краковской грязи? Единственный, кто вместо аплодисментов слышал свист пули и вместо цветов держал в руках гранату?

Маша подняла заплаканные глаза. Она не понимала. Она ждала, что бабушка обнимет её, прижмет к груди и скажет, что все пройдет, что она все придумала. Но бабушка говорила совсем другое.

— Пусть смеются, — отрезала бабушка, подвигая к себе пачку папирос. Она закурила — эту привычку она не бросила с войны, когда курила махорку в окопах. Дым поплыл к потолку, смешиваясь с запахом чая. — Смех — дело хорошее. Смех даже пули глушит. Во время войны мы смеялись часто. Иначе бы сошли с ума. Но ты, Маша, не за одного деда борись. Борись за

всех. За всех артистов, которые стали солдатами. За тех, кого вся страна знает по ролям в кино и театре, но кто войну прошел по-настоящему, до крови, до пота, до смерти.

Бабушка наклонилась вперед, и её глаза, глаза, которые видели Ленинград в блокаду, и Москву в пожарах, уставились на внучку с хищным прищуром.

— Иди и спрашивай, — приказала она. — Иди и узнавай. Ты думаешь, легко было Михаилу Пуговкину, когда у него началась гангрена в госпитале под Ворошиловградом, и врачи уже точили нож для ампутации? Думаешь, он сидел и молился? Нет, он закричал на весь барак: «Я артист! Я Пуговкин! Без ноги я не могу играть!». И он отстоял свою ногу. И орден ему дали, и ногу спасли. А знаешь, почему в документах вместо «Луконькин» появился «Пуговкин»? Потому что ошибка, Маша. Обычная канцелярская ошибка. И так он на всю страну стал Пуговкиным.

Маша моргнула. Она знала Пуговкина — смешного маленького актера из «Операции "Ы"», из «Свадьбы в Малиновке». Но она никогда не думала, что он был на фронте.

— А Юрий Никулин? — продолжала бабушка, и в голосе её зазвучала какая-то особая, почти лирическая нота. — Ты знаешь, что он разведчиком был? В зенитном дивизионе под Сестрорецком? Он же после школы, в тридцать девятом, сразу в армию пошел — на финскую. А потом война. Контузия, ранения, медали — «За отвагу», «За оборону Ленинграда». А как вернулся — сразу на футбол. На стадион «Динамо». Он же болельщик был. И там, на трибунах, ему весь стадион аплодировал. Не за роли, а за то, что живой вернулся.

— Бабушка, — прошептала Маша, — но я этого не знала. Откуда я могу это знать?

— А ты походи, — сказала бабушка и затянулась папиросой так глубоко, что кончик её заалел, как уголек в печи. — Походи, поспрашивай. В нашем доме, Маша, живут не просто люди. В нашем доме живут истории. Вон, в третьей квартире — тетя Зина, вдова актера Пафта. А Пафт, между прочим, дружил с Вердтом, с тем самым Зиновием Вердтом, который сапером был. Представляешь, актер, который разминировал поля под Харьковом? Его медсестра Вера на руках вынесла из-под обстрела, с перебитой ногой. Он одиннадцать операций перенес, ногу не отрезали, хромота осталась. Но он не стеснялся. Валентин Пафт говорил про него: «Колени непреклоненный». Он ведь и хромым на сцену выходил, и никто не замечал — так он танцевал. На свой восьмидесятый день рождения он пригласил ту медсестру — Веру, спасшую его жизнь, — и она сидела рядом с ним на сцене весь вечер. Весь театр плакал.

Бабушка говорила, и голос её становился все более проникновенным, все более пафосным, но в этом пафосе не было фальши. Это был пафос живого человека, который знает цену каждому слову.

— А Иннокентий Коктуновский? — продолжала она. — Его знают все — голос, лицо. Но кто знает, что он Киев освобождал, Днепр форсировал? Что он в плен попал под Житомиром, бежал по дороге в концлагерь, партизанил, а потом снова воевал — уже командиром роты! Он Варшаву брал, Маша. Варшаву! А ты говоришь — «Молчалин».

— Но я не говорю, — всхлипнула Маша. — Это они говорят.

— А ты им ответь! — хлопнула ладонью по столу бабушка. — Ты им не словами отвечай, ты им делом ответь. Иди и собирай. Каждую историю, каждое имя. Спроси у тети Зины про Пафта. Спроси у дяди Коли с первого этажа — он знает про Алексея Смирнова, того самого Смирнова из «Операции "Ы"», который семь фашистов в плен взял. Семь! Один человек! И ему орден Славы дали. А ты знаешь, что Смирнов перед войной в театр музыкальной комедии поступал? А пошел не на сцену, а в минометный полк.

Маша молчала. Она смотрела на бабушку, и в голове её, как в огромном калейдоскопе, начинали складываться картинки — лица актеров, которые она видела по телевизору, в старых фильмах, на афишах. И теперь эти лица обрастали плотью войны, шрамами, пылью, кровью. Они переставали быть просто картинками. Они становились людьми.

— Бабушка, — сказала она вдруг, и голос её дрогнул, но уже не от слабости, а от внезапно нахлынувшего прозрения. — Но как же я все узнаю? Мне нужно так много.

Бабушка поднялась с места, опираясь на свою палочку. Она подошла к старому, раскошшемуся комоду, который стоял в углу комнаты, и открыла верхний ящик. Ящик скрипнул, как старая дверь в склепе. Оттуда пахло нафталином, сухими травами и вечностью. Бабушка достала пачку пожелтевших конвертов, перевязанных бечевкой. Конверты были старые, с доверенными марками, некоторые были надорваны, некоторые — прожжены, видимо, от осколков.

— Вот, — сказала бабушка и положила пачку на стол. — Здесь письма. Письма, которые писала я твоему деду, и те, что он писал мне. А также письма от его однополчан, актеров, которые воевали рядом с ним. Мы сохранили все. Тут и про Коктуновского есть, и про Лупанова, который после бомбежки в блиндаже живым остался, когда всех его товарищей убило, и ему два пальца на ноге ампутировали. Он хромал, Маша. Он хромал, но на сцену вышел без трости. Никто и не знал, что он инвалид войны. И в ГИТИС его приняли, потому что не хватало парней, и на хромоту никто не обратил внимания. А он не жаловался. Никогда.

Маша взяла в руки конверт, покрытый желтыми пятнами. От него исходил странный запах — смесь пороха, старой бумаги и мужского одеколona. Запах истории.

— Мы напишем письма, — сказала бабушка, садясь напротив внучки, и в голосе её зазвела командирская твердость. — От имени твоего деда. Всем, кого знали. Ветеранам, их внукам, музеям, архивам. И ты пойдешь. Ты будешь ходить по людям и слушать. А потом — запишешь. Все. Чтобы эти... как их... одноклассники, — она сплюнула в сторону, — знали. Чтобы они не смели смеяться над артистами, которые умирали за них.

Маша кивнула. В груди у неё разливался странный холодный огонь. Это был огонь, который не греет, а закаляет. Он обжигал нутро, но не приносил боли, а давал силу. Она вдруг отчетливо поняла, что сейчас, в эту минуту, в этой комнате с высокими потолками и запахом нафталина, начинается её собственная война — война за правду. И оружием в этой войне будут не кулаки и не крики, а бумага, ручка и слова.

— Бабушка, — сказала она, и голос её прозвучал тверже, чем ей самой казалось возможным. — Я пойду завтра же. Я пойду к тете Зине. Я пойду к дяде Коле. Я не буду молчать.

Бабушка улыбнулась. Впервые за этот вечер в её улыбке не было стали — в ней была любовь.

— Молодец, — сказала она. — Ты — Огнева. Ты носишь фамилию человека, который горел, но не сгорел. И ты должна гореть.

Она подошла к портрету Всеволода Петровича, висевшему в красном углу. Портрет был черно-белым, на старой фотографии дед был молод, красив, с пронзительными глазами и легкой улыбкой. Он был в костюме провинциального актера, с накладными усами, но глаза его были серьезными. Маша смотрела на этот портрет каждый день, но сегодня она увидела в этих глазах то, чего не замечала раньше.

В них не было грима. В них был холод и сталь. В них было знание того, что сцена — это только часть жизни, а есть другая сцена, где не повторяют реплики, где стреляют по-настоящему.

«Спасибо, дедушка, — мысленно сказала Маша. — Ты был артистом. Но артист — это звучит гордо. Я докажу им всем. Я соберу каждое имя. Я расскажу каждую историю. И они больше не будут смеяться».

Она подошла к окну. За ним уже стемнело, и московские огни зажигались один за другим, как звезды на ночном небе, только вместо звезд это были окна домов, в которых жили свои истории. Маша смотрела на эти огни и думала о том, сколько судеб, сколько героев, сколько актеров-солдат живут в этих стенах — и никто о них не знает.

А за окном, в сером московском небе, кричали галки. Их крик был похож на звон клинков. Или на аплодисменты призраков, которые смотрели на Машу из невидимого зала и ждали, что она, наконец, выйдет на свою сцену.

Маша взяла ручку, открыла первую тетрадь и написала на её чистой странице крупными буквами:

**«Артисты на войне. Неизвестные страницы биографий советских звезд».**

Она не знала, что эта тетрадь станет её оружием, её знаменем, её судьбой. Она не знала, сколько имен, слез и подвигов уместится в этих страницах. Но она знала одно — она больше не позволит им смеяться. Никогда.

В комнате было тихо. Только папироса бабушки тлела в пепельнице, и дым её поднимался к потолку, словно души тех, кто ушел, но остался в памяти.

«Ты справишься, Маша, — прошептала бабушка, но скорее не внучке, а самой себе. — Ты — артистка в душе. А артисты не сдаются. Иначе, зачем мы все это пережили?»

Маша обернулась и улыбнулась бабушке. Слезы на её глазах высохли. Осталась только твердость и ясность.

— Я начну завтра, — сказала она.

Завтра — это было не просто слово. Это было обещание.

**Глава вторая, в которой Мария Огнева начинает свой поход по квартирам, а старые стены рассказывают такие истории, от которых волосы встают дыбом, и где тетя Зина оказывается не просто соседкой, а хранительницей тайн, способных перевернуть мир**

Утро следующего дня встретило Машу не солнечным светом, а тяжелым, свинцовым небом, которое нависало над Москвой, как крышка старого сундука. За окном моросил мелкий, противный дождь — тот самый осенний дождь, который не смывает грязь, а только размазывает её по стеклу, делая мир мутным и расплывчатым, как старая фотография, которую кто-то нечаянно залил водой. Маша стояла у окна в своей ночной рубашке, смотрела на капли, стекающие по стеклу, и чувствовала, как внутри неё, где-то в груди, просыпается что-то новое, доселе незнакомое. Это был не страх, не тревога, не волнение. Это была решимость — твердая, как бетон, из которого были построены стены их старого дома.

Она вспомнила вчерашний день. Вспомнила лица одноклассников, их смех, их кривые рты, их слова: «Артист — это несерьезно». И сейчас, глядя на дождь, она чувствовала не обиду, а гнев. Холодный, расчетливый гнев, который заставляет человека действовать. Она сжала кулаки, и ногти впились в ладони, оставляя красные полумесяцы.

«Я им докажу, — подумала она. — Я докажу им всем».

Бабушка уже была на кухне. Пахло жареными гренками и чаем с мятой — бабушкин фирменный рецепт, который, по её словам, успокаивал нервы и восстанавливал душевное равновесие. Клавдия Семеновна стояла у плиты, опираясь на свою палочку, и помешивала что-то в кастрюльке. Она была одета в свой обычный утренний наряд — темное платье, накинутая на плечи шаль с кистями и старенький передник, который помнил еще времена Никиты Хрущева.

— Садись, — сказала бабушка, не оборачиваясь. — Завтракать будем, а потом — по делам. Я уже договорилась с тетей Зиной. Она ждет нас в одиннадцать.

Маша села за стол. Руки её слегка дрожали, но не от холода — в квартире было тепло, бабушка всегда топила печь по-старинке, несмотря на центральное отопление. Дрожь была от предвкушения. Она взяла гренку и откусила кусочек, но вкуса не почувствовала. Вкус был где-то там, в прошлом, а в настоящем осталась только цель.

— Бабушка, — спросила Маша, прожевав и запив чаем. — А тетя Зина знает дедушкины письма?

Бабушка улыбнулась. Улыбка была печальной, той особенной улыбкой, которая появляется у людей, переживших войну, когда они вспоминают тех, кого уже нет.

— Зинаида Петровна знает о войне больше, чем любой историк, — сказала бабушка. — Её муж, Павел Сергеевич Пафт, был не просто актером. Он был человеком, который прошел через ад и вернулся, чтобы рассказывать. Только он не рассказывал. Он играл. Играл на сцене, играл в кино, а войну носил в себе, как занозу, которую нельзя вытащить. Тетя Зина — единственная, кто знает все его секреты. И она согласилась поделиться с тобой.

Маша почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ей казалось, что она стоит на пороге чего-то огромного, важного, того, что изменит её жизнь навсегда. Она не знала, что именно услышит, но чувствовала — это будет то, что сотрет улыбки с лиц её одноклассников, то, что превратит их смех в изумление.

Они вышли из дома в одиннадцать часов. Дождь немного утих, превратившись в туман, который окутывал улицы и делал их похожими на декорации к старому фильму. Маша шла рядом с бабушкой, которая опиралась на палочку и двигалась медленно, но уверенно, как старый корабль, который знает курс даже в самый густой туман. Они поднялись на третий этаж, где жила тетя Зина, и бабушка постучала в дверь трижды — коротко, отрывисто, словно выбивая дробь.

Дверь открылась не сразу. Сначала послышался звон цепочек, потом шарканье тапочек, и наконец, на пороге появилась маленькая, сгорбленная женщина с добрыми, но очень внимательными глазами, которые, казалось, видели всё насквозь. Тетя Зина была одета в платье с брошкой на воротнике — старой, серебряной, в форме звезды. Её волосы, седые и тонкие, были уложены в аккуратную причёску, а на руках, покрытых морщинами, блестело обручальное кольцо — единственное украшение, которое она носила.

— Клавдия, дорогая! — воскликнула тетя Зина, и голос её, несмотря на возраст, звучал звонко и молодо. — Заходите, заходите! Я вас заждаюсь. Чай уже остыл, но я сейчас новый поставлю.

Квартира тети Зины была похожа на музей. Вернее, не на музей, а на алтарь памяти. На стенах висели портреты актеров, старые афиши, фотографии в деревянных рамках, а в центре комнаты стоял большой письменный стол, заваленный книгами и альбомами. На одном из альбомов Маша заметила подпись: «Павел Пафт. Театральные сезоны. 1930–1970».

— Садись, Машенька, — сказала тетя Зина, показывая на старинное кресло с высокой спинкой, которое, казалось, помнило еще дореволюционных гостей. — Клавдия мне все рассказала. Как там у тебя в школе? Как они смели смеяться над твоим дедом?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.